

# Желание славы

Моск. новости. — 1999. — 10-17 янв. — с. 22

Ублистательного предшественника Пушкина, поэта Константина Батюшкова, есть поразительный прозаическо-драматический рассказ «Вечер у Кантемира». Навестившие русского посланника при французском дворе Антиоха Кантемира Монтескье и аббат В. (Ваузенон) застали друга за сочинением русских стихов. Ошеломлены и сокрушены бессмысленностью этого занятия. Трудно им поверить, что искусства и науки распространяются там, где «зимой от холода чугун распадается и топор жидкости рубит».

Изрек «известный остроумец» аббат В.: «Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!» Батюшков, изображая современников Людовика XV и Анны Иоанновны, пишет с некоторым торжеством. Рассказ датирован 1816 годом, недавно русские взяли Париж, а меж тем насколько же с кантемировых времен преуспела и словесность российская! Явились миру Державин, Карамзин, Жуковский да и сам Батюшков... А ведь Александру Пушкину еще только 17 лет! Какие же мы с вами поздние читатели! Ведаем, что все главное еще было впереди... И сколько, с другой стороны, всего позади у нас! Воскликнем ли с Тургеневым: «А Россия стоит, не падает»? Это — из речи на открытии памятника Пушкину в Москве.

Июньские дни 1880 года были, конечно, величайшим из триумфов осуществившейся российской словесности. Живые творцы ее собрались вокруг открываемого пушкинского монумента. Смысл события, однако, дошел не до всех. Пожалуй что нередок был описанный Толстым тип честного простака, смущенного тем, что такие почести оказываются не полководцу и не учителю нравственности, но автору чувственных любовных стихов. Похоже, возмущен был и сам Лев Николаевич. Да неужто и в самом деле «поэзия выше нравственности»?

Но завоевания Александра Пушкина были основательней и долговечней полководческих, а великим учителем нравственности Пушкин все ж таки стал... Тогдашний праздник прошел, увы, не без пошлости, свойственной эпохе. Чего стоила идея коронования пушкинского бюста! Вереница литераторов должна была стоять в очереди с лавровыми венками! Чтобы каждый подошел и нахлобучил...

Но это забылось. Осталась память о славном дне отечественной литературы, о дне мощи, силы, блеска. Сохранились — как события самой словесности — великолепный спич Островского, проникновенная речь Тургенева, гениальная — Достоевского... Между тем в тургеневской речи сказано нечто значительное и роковое: «...Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинающих. Он испытал охлаждение к себе современников... сам предчувствовал это охлаждение публики». Главную причину Тургенев назвал тут же: «...зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую... Не до поэзии, не до художества стало тогда».

Могло показаться, что Пушкин в какой-то миг отстал от своего времени. Но ведь, взглядываясь, мы понимаем, что он его опередил! Большинство тогдашнее ошиблось... Несколько лет длилось наваждение. Гремел вдохновенный Бенедиктов, чеканкой стиха, дерзкой роскошью словесных картин прельстивший решительно всех (и даже преданнейших пушкинских друзей). Строгость к нему Пушкина казалась завистью. Ведь Бенедиктов был действительно чудесным и даже выдающимся поэтом (заметьте, повлиявшим и на Тютчева, поэ-

же — и на Бальмонта, и на Мандельштама). Но, не будучи гением, развивался не спеша и, поумнев в старости, устыдился безвкусицы своих юных дерзаний.

Не будем к нему несправедливы, но не следовало бы только называть его «солнцем русской поэзии» при живом-то Пушкине... Пролетела зефирная бенедиктовская окрыленность. Вот на неизданный «Медный всадник», как тяжеленный надгробный камень, налегли «Мертвые души».

Охлаждение публики было, было. Великий поэт встретил его невеселым пониманием и наружным спокойствием. Ведь это наметилось уже с появлением «Полтавы», звонкозвучной, но более глубокой, чем ранние поэмы.

## Что означала слава для Пушкина? Об этом — первая из цикла статей, которые «МН» посвящают 200-летию великого поэта



Баратынский, раньше Пушкина созревший и раньше потерявший сочувствие своих читателей, утешал собрата письменно. Но все же велика была власть тайной вражды, затаенного предубеждения. 1837 годом датируется «Осень» Баратынского. Высылая ее Вяземскому, Евгений Абрамович писал: «Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения... Многим в нем я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе».

В комментариях к сборнику, изданному в серии «Академические памятники», Л.Г. Фришман утверждал, что последние строфы были непосредственным сочувственным откликом на смерть Пушкина. Верно, но ужас положения как раз в том, что сожаление о смерти друга сочеталось с выпадом против него же: «Так иногда толпы ленивый ум / Из усыпления выводит! / Глас, пошлый глас, вещатель общих дум, / И звучный отзыв в ней находит! / Но не найдет отзыва тот глагол, / Что страстное змее перешел».

Чудовищно, но не пора ли признать, что это (Глас, пошлый глас...) — о Пушкине?! А ведь могло бы по справедливости быть отнесено к молодому Бенедиктову, к еще не родившемуся Северянину, к нашим «эстрадикам»... Чину ж тут сказать? В «Моцарте и Сальери» Пушкин дает великому композитору в чем-то равного ему собеседника. Сальери адски умен и совсем не мелок. Да только Моцарт неизмеримо крупнее творчески. Не в том ведь суть, что Сальери «отравил», главное, что он ошибся. И тут же пронзен ядом гибельной своей ошибки.

С друзьями разбиравший бумаги покойного Пушкина Баратынский был потрясен и множеством, и совершенством неизданных пушкинских вещей. Но особенно — негаданным «обилием мыслей». (Ну кто бы ждал такого от Пушкина!) Судьба совершилась, и «Осень» Баратынского, стихотворение столь многоплановое, из русской антологии не вырвать

топором. Но: «Многим в нем я теперь недоволен...»

В сочинениях Пушкина часто, бесчисленное количество раз употребляется слово «слава». Но в слишком разных контекстах и обстоятельствах. Конечно, слава была для него прежде всего пиитической, с лирой неразрывно связанной, даруемой по воле музы. Такова участь Гнедича: «Гомера музу нам явил! / И смелую подругу славы! / От звонких уз освободил...» Отучивший смысленного лириста от односторонности, расширивший его кругозор и указавший на величайшие цели Павел Иванович Катенин был, разумеется, «любownik славы, / Наперсник важных аонид».

Жаль, что большого поэтического

дара аониды Катенину не вручили, а критицизм учителя и завистника, безошибочно-точный и все-таки, при всей язвительности, беззубый и тошнотворно-несправедливый, был для Пушкина раной более мучительной, чем суд глушцов... Невдалеке от славы лирной — слава воинская, «ропот бранной славы». Обольщенная Бонапартом Франция — «добыча славы». Но и для «русского, для друга славы» он «священ», знак побед отечественных, «чугун кагульский».

В светской беседе Александр Сергеевич утверждал, что пишет для того, чтобы иметь успех у дам. В речах таких неизбежно много напускного. «Ведь мы и гибнем и поем! / Не для девического вздоха...» Это, впрочем, стихи не пушкинские, а принадлежащие Ходасевичу. Столько в них злой твердости, что закрадывается сомнение, ну, а может быть, все-таки именно для «девического»? Пушкин, «благословя богомольно! / Перед святыней красоты», откровенно жертвовал для красавиц «Покоем, славою, свободой и душой» Да и зачем еще нужна была ему молва? «Желаю славы я, что побед именем моим! / Твой слух был поражен вечно...»

Но послушаем Анну Андреевну Ахматову, в ташкентской эвакуации ощутившую, как устала она под собственной тяжелой ношей и, почти в преддверии ждановского доклада об «альковной» лирике, вспомнившую Пушкина: «Кто знает, что такое слава! / Какой ценой купил он право, / Возможности или благодати / Над всем так мудро и лукаво / Шутить, таинственно молчать / И ногу ножкой называть...»

По-видимому, есть очень разноразновидности славы. Невысокие — известность, популярность. И вообще — «репутация». В конце концов именно — успех у женщин. И тема «славы» такого рода возникает в важном «Разговоре книгопродавца с поэтом». Рекомендует поэту книгопродавец: «Но сердце женщины славы просит! / Для них пишите; их ушам / Приятна лесь Анакреона...» Радикальному «книгопродавцу» принадлежит и пламенная стихотворная концовка разговора о насущном: «Что

слава? — Яркая заплата / На ветхом рубище певца. Нам нужно злата, злата, злата! / Копите злато без конца!» И — далее, в том же духе. Наступает миг взаимопонимания. Стихами говорит торговец, у поэта (он также заинтересован в успехе тиража) нет уже сил для стихов. Он переходит на прозу: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».

Однако в душе Пушкина (быть может, единственного из русских поэтов) не угасал иной, возрожденческий идеал завоевания славы как высокой гражданской доблести. И все сказано в двух строчках: «Поговорим о бурных днях Кавказа / О Шиллере, о славе, о любви». Здесь равновелики подвиг воина и поэзия (столь возвышенная, как шиллеровская), любовь и слава...

Привычно вращающийся «меж детей ничтожных мира», Пушкин был горделив, однако. Распускались слухи, что на утре дней начинающего поэта розгами высекали в Третьем отделении. Недруги клеветали... Пушкин в послании к Федору Глинке повествует о своей судьбе с самоуважением: «Когда средь оргий жизни шумной / Меня постигнул остракизм...» Да, изгнанию посредством остракизма, «суда черепков», в античных Афинах подвергались наиболее выдающиеся по уму и дарованиям граждане, казавшиеся опасными толпе. И дорожа опасной Славой, поэт презирал успех у черни. Вот этого не смогли выскоблить из советских хрестоматий: «Поэт, не дорожи любовью народной! / Восторженных похвал пройдет минутный шум...» Казалось бы, плохо оно согласуется со стихами «Памятника», но согласуется, тем не менее. Цитировать оный не будем. У всех на устах да и начертано на пьедестале. Скажем только: за словами, отлитыми в чугуне, всегда будет незримое веяние черновой, вычеркнутой строки: «Что вслед Радищеву восславил я свободу...» Здесь видел Он великую свою заслугу, здесь и великая его слава. «В надежде славы и добра» отживался Он глядеть в будущее.

А юбилей... Как не вспомнить Константина Случевского: «Все юбилей, юбилей... / Жизнь наша кухнею разит! / Судя по ним, людьми большими / Россия вся кишмя кишит...» Но Пушкин — статья особая. Была и есть народная потребность в его празднике. Эта культовая потребность удовлетворялась и в эпоху культа, и во времена вегетарианские. Один осыпанный золотыми звездами завхоз, учредивший «аллею Керн» и даже «скамейку Татьяны и Онегина», постепенно превратил пушкинский праздник в собственное чествование. В Михайловском и в Святых Горах, преображенных в цитатник на местности, шли, бывало, развеселые декады. Председательствовавшая поэтка читала один пушкинский стишок, перевирая, и два своих, надо думать, точно. Народ гулял. Вообще читайте довластовский «Заповедник».

Николай Васильевич Гоголь упоенно поведал нам о славе летучей, прижизненной и — настоящей, посмертной. Случилось так, что Пушкину все-таки достались обе; вторая не замедлила. В облаке ранней прижизненной — такая короткая жизнь поэта; в ослепительном солнце посмертной — подлинное бессмертие. Дадим здесь слово Ахматовой: «...услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались. «Il faut que j'arrange ma maison (Мне надо привести в порядок мой дом)», — сказал умирающий Пушкин. Через два дня его дом стал святыней для его Родины. И более полной, более лучезарной победы свет не видел».

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Пушкин А.Е.

10.7.99